# Грешное житие святого Аркадия Казакова

# Сергей Снегов

### 1

— Самый раз, — одобрил принесенный мною разбавленный спирт Аркадий Николаевич Казаков. — Градусов пятьдесят пять, верно?

— Старался под шестьдесят, — скромно ответил я. — Но, конечно, градус туда, градус сюда — спиртометра в моей лаборатории нет.

— Знаю, знаю. И про вашу старую лабораторию, которую покинули, и про новую, которой пока нет, и про ваши дела... Слыхал, что ударились в атомные прожекты. Были инженером, даже неплохим, вдруг сдурели — полезли в атом! И ко мне по этой части?

— К вам. Речь об одиннадцатой турбине Мицубиси. Вы пообещали начальнику комбината Александру Алексеевичу Панюкову...

— Подождите с генералом Панюковым. Сперва — кто вы? Налейте еще по полстаканчика. Соленые огурцы с материка?

— Откуда же еще? В Заполярье их не производят.

— Выжатые, как сиськи у старухи. Но за неимением гербовых марок применяются простые — слыхали? Так вот, ваш друг Александр Игнатьевич Рыбак клянется, что вы удивительный человек. Когда ни придешь к вам, есть что выпить. И пьете помногу только в компании, а один — ни-ни! Верно?

— Приблизительно так.

— Почему такая диета?

— Когда один, нет времени пить. И не хочется. Работа увлекает больше, чем пьянка в одиночку. Другое дело в компании. Все равно творческое время потеряно, а беседа под стаканчик увлекательна.

— И всякие смеси, говорил Рыбак, изобретаете?

— Преувеличивал. Люблю чистые напитки — вино, коньяк, разбавленный под водку спирт. Конечно, смешиваю не только спирт с водой, как сейчас, а, скажем, спирт с шампанским — коктейль «Северное сияние», шампанское с коньяком — «Дружба», раза два составлял «Белый медведь» — чистый спирт пополам с коньяком. Только забористо. Лучше всего натуральный «Двин», если о любимом сорте...

— Почему не принесли своих адских медведей и сияний?

— Предупреждали, что вы пьете только водку. Считайте, что стараюсь полебезить перед вами...

— Принимаю лесть — и бутылками, и стаканами. Теперь о деле. Для начала — что знаете обо мне? Без твердого знания, кто есть кто, толкового разговора не получится. Наливайте остаток — мне побольше, себе поменьше.

Я налил ему полный стакан, а себе, что осталось — половину.

### 2

Он знал, что больше спиртного у меня нет, и не торопился осушать стакан. Я залюбовался — так красиво он тянул свою порцию. Разговор шел в 1946 году в помещении прибористов Норильской ТЭЦ, я часто хаживал туда по делам. Начальник этого помещения Александр Игнатьевич Рыбак, доставив сюда Казакова, сам удалился, объяснив: «Лучше мне ваших сверхсекретных разговоров не слышать, он пока сидит, тебя, наверно, опять посадят, а я уже отсидел и больше не собираюсь. Не хочу быть участником ваших заговоров». Так вот, я просто выпивал, а Казаков наслаждался. Он поднимал стакан, смотрел сквозь него и мелкими порциями вытягивал водку. И не сразу заглатывал принятую порцию, а несколько раз прогонял ее по рту. Это было удивительно. Я уже, впрочем, знал, что он во всем незауряден — Аркадий Николаевич Казаков, блестящий инженер, многократно судимый со множеством статей высшей свирепости — одного их количества хватило бы на добрую пятерку квалифицированных специалистов, заведомых преступников и знатоков своего инженерного дела. «Не прислали бы в лагерь Аркадия Николаевича, наверное, не пустили бы нашу Заполярную ТЭЦ, — как-то растроганно признался мне строитель котлов Иосиф Михайлович Махновецкий, отнюдь не склонный к самоуничижению, и со вздохом добавил: — Но еще сидеть ему — ох!»

И когда Аркадий Николаевич потребовал, чтобы я для начала беседы выложил, что знаю о нем, я торопливо возобновил в уме услышанное от физика Владимира Гла-занова, строителя Иосифа Махновецкого, прибориста Александра Рыбака, директора ТЭЦ Исидора Бронштейна и многих других знакомых — Казаков был увлекательной темой для разговоров. И хоть никто из нас не мог посетовать на скудость событий в своей собственной жизни, обстоятельства его существования по любой оценке виделись необыкновенными.

И я вспомнил, что он был из тех, кого объявили видными деятелями Промпартии. Вспомнил на знаменитом процессе речь обвинителя Крыленко, того самого, кого — тогда еще прапорщика — Ленин в послании генералу Духанину в 1917 году провозгласил главнокомандующим русской армией, — потом наркома юстиции, шахматиста и альпиниста, пламенного оратора на процессах «врагов народа и вредителей». А конец для него свершился в 1938 году — Крыленко был закономерно раздавлен прессом террора, который сам же столько лет истово совершенствовал. Крыленко тогда поставил турбинщика Аркадия Казакова в один ряд с такими крупными инженерами, учеными и великими вредителями, как руководитель Промпартии Рамзин, нефтяник Ларичев, текстильщик Федотов и историк Тарле. И суд, естественно, приговорил Казакова и Ларичева и еще кого-то к расстрелу, и «Правда» объявила о приведении приговора в исполнении. А Казаков перед войной появился в Норильске живой и освобожденный от тягот промпартийного приговора, зато с новыми статьями и новым тюремным сроком такой длины, что явно превосходил реальности существования. И его в начале войны определили в строители ТЭЦ со специальным заданием срочно смонтировать эвакуированную из Харькова турбину. Турбина была дрянненькая: при проектной мощности в 25 тысяч киловатт, она в Харькове за несколько лет эксплуатации ни разу не дотягивала и до двадцати тысяч, эвакуация, за шесть тысяч километров в Заполярье качества ее тоже не улучшила. Некоторые — из комсомольского набора — энергодеятели в Норильске ужаснулись: такая развалюха, а кому поручили восстанавливать — человеку с жутким набором статей, он же ее вконец угробит, и обвинять будет некого. «Война же идет, с нас голову снимут!» А опытные специалисты карательных органов успокаивали: «Казаков ведь кто? Наш знаменитый вредитель из Промпартии, такому что угодно поручи — все выполнит с блеском». И вредитель Казаков выполнил даже больше того, что ожидали. Смонтированная им турбина далеко превзошла не только то, что показывала в Харькове, но даже свои проектные возможности — ниже 28000 киловатт мощности не опускалась.

И еще одно я вспомнил из рассказов о Казакове. В момент пуска первой турбины на ТЭЦ вдруг стал падать пар, турбина сбросила обороты. Пуск был обставлен торжественно, из Москвы прилетел генерал из карательных, а не военных, уже была написана, но не отправлена, ликующая реляция самому Сталину о великом производственном успехе в Заполярье. Велели вызвать Казакова, отвечающего за турбину, но его не нашли ни в турбинном, ни в котельном помещении. «Вредительство! Сбежал, гад!» — мигом определил проницательный московский генерал. Офицеры кинулись выискивать сбежавшего вредителя, а в это время он сам, грязный, небритый, с трудом открывая глаза, выполз из-за горы неубранного монтажного мусора, молча отстранил рукой кинувшегося к нему разъяренного генерала и прохрипел растерянному директору станции: «Дура, чего стоишь, я же во сне носом учуял — недоделанная задвижка на сороковой отметке на газоходе упала, тяги нет. Пошли туда, а я еще отдохну вон там, без дела не будить». Тяга восстановилась, победная реляция была отослана в Москву, а Казаков три дня не выходил из блаженной хмельной одури.

Лет через пять, став из физика писателем, я изложил эту забавную сценку в романе «В полярной ночи».

Все вспомнившееся я изложил Казакову в доказательство того, что кое-что немаловажное знаю о нем.

### 3

— Чепуха, — сказал Аркадий Николаевич, с сожалением допивая последний глоток. — О людях обычно болтают всякий вздор, он поверхностен и потому бросается в глаза. Вы думаете, я турбинщик? То есть правильно, турбинщик, но это сейчас, а был летчиком. Не просто летчиком, а товарищем Петра Николаевича Нестерова, того самого, что первым выполнил мертвую петлю. Вы об авиаконструкторе Сикорском слыхали?

— Знаю, что он сконструировал четырехмоторные самолеты, которые назвали «Илья Муромец».

— Я летал на одном из них. И отношения у нас с Сикорским были превосходные, он все выспрашивал меня, как «Илья Муромец» в полете. Ну, сказать, что тогдашний «Муромец» был хорош для боя, я бы не мог, потом, уже в Америке, Игнатий Николаевич создал большие машины, вполне надежные в воздухе. На «Илье Муромце» меня ранили, и я стал непригоден для авиации. Калека в пилоты не годится.

— На калеку вы не похожи, Аркадий Николаевич.

— Смотря как искалечен. Вот у американского писателя Хэмингуэя некоего Джейка сразили осколком в причинное место, после чего он перестал быть мужчиной. Характер мужской, действия мужские, а не мужчина. Он влюблен и его любят, а любви быть не может, такая трагедия. Когда у нас переведут, прочтите, советую, хороший роман.

— И у вас похожее ранение? — спросил я осторожно.

— Точно такое же, как у того парня в романе. «Илья Муромец», — исполин, четыре мотора, неслыханная по тем временам конструкция, но открыт, нет хорошей защиты. Стреляли с земли — и надо же — не в ногу, не в руку, даже не в задницу — и это бы перетерпел. А с моим ранением авиация закрыта напрочь. Пришлось демобилизоваться. К этому времени и гражданская война закончилась, и я ушел из Красной Армии. Одно хорошо — до ранения случайных связей хватало, а жены не завел. Пришлось на всех мужских делах поставить крест.

— Представляю себе, как вы переживали.

— Не радовался, ведь еще молодой был. Да радостей и без женщин хватало — выпивка, друзья-товарищи, потом техника захватила. Я поступил в Технологический, там директорствовал Рамзин, он меня сразу приметил. Леонид Константинович, доложу вам, инженер редкостный, да и человек хороший, хоть его в печати как только не чернили. Даже пить я перестал, так стало снова интересно жить. Он меня в котельщики определил, он уже подступал к своим знаменитым прямоточным котлам, а строить их стал после того, как его в главные вредители назначили — можно сказать, создал революцию в этой отрасли. И мне говорил, что буду главным его последователем в этом деле.

— Интереснейшие у вас были друзья-руководители — летчик Петр Нестеров, авиаконструктор Игнатий Сикорский, теплотехник Леонид Рамзин. Знакомством, не только дружбой с каждым можно гордиться.

— И горжусь — и знакомством, и дружбой. А котельщиком не стал. И знаете, кто виноват? Он же, мой любезнейший друг и руководитель Леонид Константинович Рамзин. В стране после гражданской войны началась революция в энергетике. И одним из ее зачинателей был Рамзин. Он ведь из виднейших творцов ГОЭЛРО, ленинского плана электрификации страны. Рамзин обнаружил, что в его прямой области, в котлостроении, положение отнюдь не трагическое, были отличные кадры, достаточно назвать Владимира Григорьевича Шухова, ведь гений, сколько удивительных изобретений, среди них и паровые котлы. А в области энергомашин — катастрофа. Ни одной своей конструкции, ни одного своего турбинщика. Царская электроэнергетика — это же позор сравнительно с западными соседями, всего два миллиона киловатт установленных мощностей на всех электростанциях страны. Надо на пустом месте создавать новую индустрию — вот такой был план Рамзина, позже за свои выдающиеся начинания объявленного главным вредителем в стране. И он мне сказал: «Печально отвлекать вас от нашего общего дела, котлостроения, да турбинщики сегодня еще нужней котельщиков. Благословляю на новую дорогу!» Так я стал турбинщиком. И не конструктором турбин, как представлялось вначале и ему и мне, а монтажником. Приходили новые турбины из-за рубежа, нужно было осваивать импортные конструкции, до придумывания своих руки не доходили. Не хвалясь, признаюсь: к тридцатому году, к процессу Промпартии, я, возможно, уже стал в стране виднейшим мастером по монтажу и пуску паровых турбин.

— Все так и говорят о вас. И на процесс Промпартии вас привезли из Баку, где вы налаживали пуск импортных турбин на местной электростанции, — сам читал в «Правде».

— То есть пытался сорвать пуск новых мощностей на одной из крупнейших в стране электростанций, так это было сформулировано в обвинении. Да, было, было. Станцию построили большой мощности, без нее расширять на Каспии нефтяную промышленность стало немыслимо, а местные условия того времени сами знаете. Всего нехватка, а пуще — знаний и опыта. И монтажники из Англии в наших условиях пугались, столько ошибок наделали! Их потом самих вредителями объявили, только это вздор, ничего они не вредили — злились, нервничали, лезли из кожи вон, а такое состояние не способствовало делу. В общем, бросили меня на отстающую стройку ликвидировать их вредительство, а только я разобрался что к чему — бенц, бац!.. Хватают за шкирку, везут в Москву и в промпартийцы — шьют мне все то, что я пытался там разглядеть и поправить.

— Вас тогда приговорили к расстрелу и объявили об исполнении приговора в той же «Правде». Как же вы остались живым?

Казаков засмеялся, прикрыв глаза. У него на лице появилось выражение, словно он вспомнил что-то приятное и хочет заново его пережить, потому и закрывает глаза, чтобы вид окружающего не мешал еще живой картине прошлого. Невысокий, худощавый, с быстрыми движениями рук, он так выразительно менял мины, что если и не мог без слов описать события, то отношение к ним и без слов высказывал определенно.

— Да, приговор, приговор... Писать страшные решения умели, да и осуществляли без колебаний... Посадили в камеру смертников, сижу, жду вызова на распыл, вдруг целая когорта руководителей Лубянки, а впереди главный тогдашний палач Ягода. Милейший, между прочим, был человек в личном общении Генрих Григорьевич, — обходительный, веселый, стихи любил, особенно Эдуарда Багрицкого, другим писателям тоже покровительствовал, — а по своей расстрельной части исполнителен и беспощаден. И сразу ко мне: «Казаков, что же вы с нами делаете? Вы же нас гробите! Вас надо на исполнение приговора, а где отчет по Бакинской станции?» Говорю ему: «Не успел до ареста, потом сами помешали. Обойдетесь теперь без моих технических рекомендаций». Так несерьезно, отвечает, вы же, мол, настоящий инженер, должны понимать, что без вашего аргументированного заключения неполадки на станции не ликвидировать. Садитесь и пишите. А как с приговором? — спрашиваю. Он едва не заматерился, так вышел из себя. Дался вам приговор! Отложим до окончания отчета, согласны? Оглядел камеру смертников и поморщился: здесь, пожалуй, работать не очень удобно, переведем, наверное, в хорошую камеру? И все закивали — переведем, переведем, за этим дело не станет! Хороших камер у нас навалом!

Сижу я в другой камере на той же Лубянке, стол, письменные приспособления, а все не пишется. Только вспомню, что последняя точка в отчете равнозначна последней точке в жизни, перо само выпадает из руки. Спустя неделю снова является ко мне милый Генрих Григорьевич — уже без свиты. Ну как, Аркадий Николаевич, закончили отчет? Товарищ Орджоникидзе ругается, ему докладывать товарищу Сталину о ликвидации вредительства в Баку, а вы и мышей не ловите в таком срочном деле! Да как-то оно само не торопится, отвечаю. Стены какие-то нехорошие, взгляну на них, сразу вспоминается, что ждет по окончании отчета. Он засмеялся, понравилось, что стены его служебного дома так могуче действуют. Сегодня же переведу на свою дачу, говорит, там вам лучше будет. И через час его личный автомобиль умчал меня за город, правда, под охраной — двое гепеушников на заднем сидении с двух боков, чтобы ненароком не выбил окно и не выбросился на всем ходу наружу. Теперь уже собственная честь не позволяла мне тянуть резину. Обстановка — роскошь: диван, картины, даже патефон с веселыми пластинками; еда — лет десять последних о такой не слыхал. В общем, вскоре передаю законченный отчет дежурному охраннику, их двое всегда дежурили на первом этаже. Завожу после этого на патефоне музыку повеселей и в промежутках между Козиным и Утесовым, а также Скоморовским и Петром Лещенко, был и этот эмигрант, предаюсь невеселым размышлениям. Теперь уж точно конец. Не сегодня, так завтра появится целая группа и прикажут: «Собирайтесь. Вещей не брать».

Но появилась не группа, а один Ягода. Веселый, градусов на сорок — коньячным духом понесло еще когда он только взбирался ко мне. И с ходу: «Спасибо, Аркадий Николаевич, отлично написано. Мы вчера с Серго поехали с вашим отчетом к товарищу Сталину, он поблагодарил: «Отлично сработали, товарищ Ягода, теперь выполняйте!» Вечером, согласно вашей рекомендации, отдал распоряжение в Баку, сегодня послал туда же надежного работника, товарищ Серго — своих. Принял немного на радостях и к вам — кончать всю эту бодягу. Подправьтесь тоже перед отъездом», — и достает бутылку. Я, естественно, принял и осторожно интересуюсь: «Куда же меня — опять на Лубянку?» Он уже не смеется, хохочет, такой веселый был. «Удивительный вы человек, Казаков, тоскуете по Лубянке! Моя машина внизу, езжайте домой». И вечером того же дня я как был — без вещей, в одном пиджачишке, а погода как на зло из сквернейших, стучусь в дверь своей квартиры на Садовом кольце. И совсем забыл, что ни мать, ни сестра не предупреждены, что жив, в газете ведь извещено, что приговор приведен в исполнение. Первой появилась мать, взглянула — ах, ах — и без чувств на пол у двери. А на крик выскочила сестра и тоже — ах, ах — и валится на мать. И повозился я с ними, пока привел в сознание! Одно знал: от радости не умирают — и точно, не умерли, мама даже сказала, что теперь и умирать не хочется, а до того каждый день молилась, чтобы Господь поскорей освободил от жизни. В общем, до утра болтали, обе то смеются от счастья, то навзрыд рыдают от того же счастья. И было у них немного градусных запасов подобрано на сороковой день после моего расстрела, я к утру их все прикончил в честь того, что расстрел обошел стороной. Даже за этого скотину Ягоду пропустил стопарик, только они не поддержали, а зло плевались, так и не поняли, что он не всегда палачествовал, а когда было выгодно, то и милостиво экономил пулю. Вероятно, даже умилялся своему великодушию.

— Странное у вас отношение к этому злодею, Аркадий Николаевич.

— Нормальное. Обыкновенный был человек — вот что было в нем страшное. Истово выполнял волю пославшего его, как сказано не то у Луки, не то у Матфея. Верный холуй своего хозяина. Без приказа не зверствовал. И всегда находил самые высокие слова для самых низких дел, если было велено творить низость. Помните, как говорил Дзержинский у любимого его поэта Багрицкого:

Оглянешься — а кругом враги,

Руки протянешь — и нет друзей.

Но если он скажет «Солги!» — солги,

Но если он скажет: «Убей!» — убей!

И лгали, и убивали! Друзей ведь у этих людей — наперечет, а врагов — тьма. И после расстрела тех, кого сами определяли во враги, чуть не в героях себя числили.

Он помолчал — видимо, заново переживал старые события. Я заговорил первый:

— Как же вы повели себя на воле, Аркадий Николаевич? И почему получили новый срок?

### 4

Он опять оживился, похоже, любил вспоминать незаурядности жизни.

— Как повел себя? Да так и повел — работал. А почему наградили новым сроком? По той же причине — работал. Неработающих не карали. Что с них взять, с бездельников? А кто работает — поводов много: то недоделал, другое не выполнил, третье неважно выглядит. Конечно, поначалу, после освобождения, не очень придирались, понимали, что раз заменили вышку на волю, так нужен на воле. В общем, возглавил проект электростанции на Урале. Да не просто проект возглавил, а стал директором проектируемой мною же станции. Учли — проектирую для себя, значит, ляпов не допущу и заранее подготовлю все на месте, не дожидаясь конца проекта. Написал проектное задание, послал в Ленинградский институт ТЭП — "Теплоэнергопроект» — разрабатывать в деталях, а сам, уже как директор, набираю кадры, закупаю взрывчатку для разравнивания площадки, подаю заявки на материалы и оборудование. А тут подбирается тридцать седьмой год. То одного, то другого еженощно из квартир... И понял — не миновать и мне. И размышляю уже не столько о станции, сколько — куда меня поведет новая полоса. Если уж в тридцатый год, не такой кровавый, угодил под расстрел, то вряд ли пощастит в нынешнее кровожадье. Соображаю, что навесят на шею; либо расстрел, либо лагерь на половину остающейся жизни. Прикидываю разные допустимости, разрабатываю возможные обвинения — и ожидаю ночного визита.

А взяли меня уже в зиму тридцать восьмого, И следователь знакомый, еще в Баку приезжал ко мне. Хороший парень, носатый, толстогубый, жуткий ходок на жратву с выпивоном, щеки — кровь с коньяком. Мы с ним еще до Промпартии разика два-три усаживались на всю ночь с бутылью «рыковки», помните, была такая вместительная посудина. Но он меня по этой части не перегонял, хотя старание выказывал, не отрицаю. В общем, начал допрос по ихней форме — каменное изваяние на деревянном стуле, глаза — два копья, слова не выговариваются а цедятся.

— Попались снова, гражданин Казаков?

Только я вижу, что грозный стиль он долго не выдержит, не та жила — не я, а он скорей расколется и поведет себя человек человеком, в рамках служебной специфики, естественно.

— Не попался, а попал. А куда попал, скажете сами. Думаю, впрочем, что не в санаторий.

— Вы эти шуточки бросьте, Казаков, — рычит он. — Заставим во всем признаться, и на таких у нас имеются средства.

— Не пугайте, — говорю я со скукой. — Я ведь уже расстрелянный, можете и в «Правде» прочитать — приговор такого-то числа приведен в исполнение. Или у вас припасено что похуже расстрела? Интересно бы узнать — что именно?

Он сбавляет тон.

— Казаков, мы требуем от вас чистосердечного признания, это единственное, что может вас спасти.

— Рад, что не с бухты-барахты к стенке. А в чем я должен признаваться?

— Как в чем? В своих преступлениях! Должны показать все факты, за которые вас арестовали,

— Ясно. Рассказать вам, раз сами не понимаете, за что меня надо арестовывать. Между прочим, похожий случай уже описан в литературе. Один проницательный сыщик, почти Шерлок Холмс или Ник Картер, предложил арестованному показать — где, когда, с кем и что именно он делал. Вы, гражданин следователь, можете еще существенно дополнить розыск того сыщика: и по чьему, мол, заданию вы делали то, что вы делали? Нет, уж творите сами свое дело, я за вас работать не буду.

Он быстро допер, что лучше со мной по-человечески Он был хоть и не шибко проницательный, но не лишен известной душевности. Не пошел бы в палачи, с ним можно бы и дружить.

— Аркадий Николаевич, мы же с вами старые знакомые... Должны же понимать друг друга... Есть указание — оформить вас... Очень не хочется применять третью степень. Ну зачем вам это? Здоровье не из железных, разум в норме... Стоит ли портить жизнь?

Я спросил прямо:

— На что приказано меня оформить?

Он ответил с большой осторожностью — разговор все же пошел рискованный, и в их среде побаиваются собственных стукачей, я ведь и в камере мог разболтать, как поворачивается допрос,

— Ну как — на что?.. Меньше десяти лет лагерей не рассчитывайте.

— А если вторая вышка? А если на этот раз — настоящая?

Он чуть не обиделся на мое недоверие.

— Аркадий Николаевич, буду я вас обманывать! Мы же вас уважаем как выдающегося специалиста... Года два-три, может, суд добавит, но это крайность. Даже пятнадцати не планируем... Так что давайте смело, на всю чистоту — помогите нам и себе...

— Помогать вам против себя, так верней...

Я говорил уже, еще до ареста обдумал, как держаться и на что пойти. Его довольно неожиданная просьба открывала многие возможности. Все же я полностью ему не доверял. Хотелось уточнить пределы измышлений собственных преступлений, чтобы не попасть в положение, из какого нет выхода. И первые же слова следователя о его ожиданиях показали, что нельзя полагаться на его самые искренние посулы.

— У вас столько было знакомств с иностранцами, — с надеждой сказал он, когда я прямо спросил, что конкретно он требует. — Представители знаменитых фирм... Хитрые бестии враждебного империализма...

— Нет, — категорически отвел я его первое деловое предложение. — Шпионаж мне не шейте. Это не моя творческая стихия. Моя рабочая область — монтаж и наладка электрических машин, за что неоднократно отмечался и премиями, и карами.

— Значит, вредительство, — согласился он. — Точно бы указать, где и когда вредили. Вы человек видный, суд не поверит, если не обосновать важными фактами.

— За фактами дело не станет. Пишите — замышлял взорвать электростанцию на северном Урале и тем вывести из строя мощный промышленный узел страны.

Лицо его озарилось чистой радостью — не ожидал столь добросердечного признания. Он с благодарностью посмотрел на меня.

— Как же сформулируем, Аркадий Николаевич? В смысле не только основной цели, но и объективных возможностей. Нельзя же все-таки — приехал, посмотрел и начинаю взрывать? Так не вредят. Нужны предпосылки для выполнения задуманной вражьей цели.

— А кому лучше знать, как надо вредить — вам или мне? Предпосылки самые объективные. Я — руководитель строительства, директор станции. Кому квалифицированно вредить, если не мне?

Он все же не преодолел сомнения.

— Резон, конечно, есть. Директор, полная самостоятельность, крупный инженер — можно организовать любую диверсию. Да ведь это все из области возможностей. Суду я должен дать объективные факты, а не возможности.

Тогда я выложил заранее спланированные карты,

— В бумагах, которые ваши оперативники изъяли из моего сейфа, имеется переписка по поводу срочной доставки на площадку строительства одной тысячи тонн аммонала. Полной тысячи не дали, но больше пятисот тонн выбил. Вот эта вся взрывчатка предназначалась мной для взрыва станции.

Не без удовольствия я увидел, как ошарашило его мое признание. Он от изумления открыл свой внушительный рот — пещерное хавало, как выражается наш прораб Семен Притыка — и не сразу сумел его прихлопнуть. У него даже голос задрожал от волнения, когда он сумел заговорить. Я посочувствовал — злорадно, естественно, — его состоянию; человек мастерил сознательную легенду, туфту наваливал на туфту, а на деле оказалась не туфта, а реальное злодеяние; пятьсот тонн взрывчатки, полный железнодорожный состав, пригнали на стройку, чтобы камня на камне от нее не оставить.

— Вы это серьезно, Аркадий Николаевич? В смысле — вполне реально, по-деловому?..

— Вполне реально и по-деловому. Иначе не работаю. Если злодействовать, так с размахом, иного принципа не признаю.

Он с усилием взял себя в руки.

— Ваши масштабы известны, Казаков. Но чтобы пойти на такое преступление... Честно говоря, не ожидал... Все это в изъятых документах? Точно, как вы признались?

— Вот уж не думал, что вы меня дураком считаете! Обосновывал заказ на взрывчатку, конечно, не вредительством, а потребностями строительства. Без камуфляжа большие дела не делаются.

— Понятно. Теперь я отправлю вас в камеру, отдохнете пару дней. Посмотрим изъятые бумаги, доложу начальству о чистосердечном признании...

Он торопился убрать меня в камеру. Его била нетерпячка. Он ожидал долгой борьбы со мной, прежде чем получит нужные показания. Вряд ли он серьезно поверил в настоящее вредительство, но сразу оценил добротность моего добровольного признания для внешнего глаза. И потому не стал допытыватьсяя, для чего реально была затребована взрывчатка. Это было второстепенно. Впереди открывались сияющие перспективы. Задание с блеском выполнено, начальство одобрит выдающийся успех, карьера наверх станет осуществимой — туг было главное. И он спешил использовать плоды своего успеха.

Спустя неделю он снова вызвал меня. Лицо его лучилось почти нездешним сиянием. Начальство, по всему, высоко оценило его достижения.

— Значит так, Казаков. Я проверил показания по документам. Все насчет взрывчатки подтверждается. Ввиду особой важности преступления выносим ваше дело на Военную Коллегию Верхсуда. Срок будет от десяти до пятнадцати лет, а высшей меры, ввиду добровольного признания, не опасайтесь.

И спустя некоторое время я предстаю перед грозными очами моего доброго знакомого — председателя Военной Коллегии Верхсуда Василия Ульриха, Об этом поганеньком человечке должен сказать несколько слов. Мы с ним иногда встречались после процесса Промпартии, даже в преферанс играли, я ведь как бывший осужденный, только по случаю недострелянный, был вроде теперь их кадр, они к таким относились с уважением. Между прочим, Ульрих, любитель анекдотов, с охотой рассказывал самые рискованные в дружеском застолье, только каждый раз добавлял: «Я могу рассказывать все, что мне угодно, а вы можете только слушать, но помалкивать. Ибо меня никто не может привлечь к ответствен нести, я — Верховный судья, А любого анекдотчика из вас я спокойно закатаю на десятку за антисоветскую агитацию». И вот воззрился он из меня, делает самую зверскую физиономию, хотя нужды в том нет — и без зверства на лице этот шибздик, типичный недоделыш природы, внушал каждому ужас, даже когда улыбался, а это тоже с ним порой бывало. Он даже любил творить злокозненную усмешечку, хорошо зная, что она никого не веселит, а устрашает.

— Казаков! Всегда был уверен, что наше знакомство завершится именно таким финалом, ибо в вашей натуре неистребима ненависть к советскому строю и непреодолима жажда злодействовать. От расплаты за Промпартию удалось ускользнуть, вторично счастье не улыбнется. Докладывайте, какое замыслили преступление против однажды напрасно пощадившей вас советской родины.

Я постарался ответить с почти нахальным спокойствием, хотя все нутро сводило от волнения — уж больно высока была ставка в задуманной мною игре.

— Нечего мне докладывать, гражданин Председатель Военной Коллегии, о совершенных мною огромных злодеяниях, ибо не было никаких злодеяний — ни огромных, ни даже крохотных.

Он хлопнул рукой по папке с надписью: «Хранить вечно», где содержались протоколы допроса, извлеченные из моего служебного архива документы и обвинительное заключение,

— А это что? Собственноручные показания о вредительстве! Взрыв огромной станции, которая должна была существенно повысить мощь нашей социалистической индустрии! И это вы имеете наглость именовать — никаких самых крохотных злодеяний! Много повидал преступников, Казаков, но таких, как вы!..

— Показания от первой буквы до последней точки — сплошная липа. Меня принудили к такой лжи угрозы вашего следователя. Я знаю ваши порядки, гражданин Ульрих, и чувствовал, что не вынесу лубянских третьих степеней. А на суде, так решил, скажу всю правду. Попытки взорвать станцию не могло быть, потому что самой станции не существует. Она пока еще только проектируется.

— Но ведь получили пятьсот тонн аммонала для взрыва станции!

— Аммонал весь пошел на то, для чего и был предназначен, — предварительное выравнивание площадки будущей станции, местность там довольно холмистая.

С молчаливой радостью я видел, что Ульрих порядком озадачен. Меньше всего он мог предположить, что я разыграю со следователем подобный сюжет. Он перекинулся несколькими словами со своими помощниками в таких же военных мундирах, как и он сам, только звездочек на отворотах воротника у каждого было поменьше, и снова обратился ко мне:

— Чем вы докажете, Казаков, что станции не существует?

— Проще всего поехать на стройку и собственными глазами убедиться, что даже котлованы под оборудование не выкопаны. Сфотографировать стройку и приложить фотографии к делу, как документ, полностью опровергающий все измышления следствия.

Ульрих побагровел от ярости.

— Снова раскрываете свою черную душу, Казаков! Оторвать квалифицированного работника от срочных государственных дел, услать в длительную командировку, отложить суд — и переждать спокойно в камере, не изменится ли за это время ситуация! Один раз вам удался похожий план, сейчас не удастся. Заслуженного наказания вам не избежать. Больше не имеете доказательств, что станции реально не существует?

— Почему же не имею? Есть и другие доказательства, столь же убедительные. Позвоните из Ленинграда в институт «Теплоэлектропроект» и вам разъяснят, что еще ни одного рабочего чертежа на строительство самой станции не спущено, есть только мое проектное задание и разрабатывается технический проект по этому заданию,

Ульрих гневно встал и с грохотом отодвинул стул.

— Заседание суда откладывается, Уведите подсудимого.

И я снова сижу в прежней моей одиночке и размышляю, как же сложится теперь мое будущее и что станет с одураченным следователем. Я даже посочувствовал ему — хода наверх уже не будет, такие промашки лубянское начальство своим гаврикам не прощает. Все же он был неплохой парень, так по-человечески обрадовался, что избивать меня до полусмерти, а то и в прямую смерть не придется. Потом и на себя рассердился — черта мне в следователе, своя шкура к телу ближе, а он что заслужил, то и получил.

Через энное времечко меня вызывают к какому-то канцелярскому тюремщику — и подписываю любопытнейшее постановление уже не Военной Коллегии, а Особого Совещания при наркоме НКВД: «Казакову Аркадию Николаевичу определить 10 лет тюремного заключения с последующим поражением в правах по статье: подозрение во вредительской деятельности». Вот так прямо и прихлопнуто — не какая-то там номерная статья Уголовного Кодекса, не конкретная вина, а новый вид уголовного наказания — по одному подозрению. Могу гордиться, что применили ко мне такую впечатляющую юридическую новинку,

Казаков и впрямь гордился необычной формой приговора. И еще больше гордился тем, что легко обманул следователя и, показав на суде фальшь обвинительного заключения, исключил возможность гораздо более серьезного наказания. Время было суровое, тридцать восьмой год шел еще свирепей тридцать седьмого, вышка заранее не исключалась, несмотря на все заверения следователя, — и на этот раз увильнуть от выполнения приговора не удалось бы.

— Не правда ли, любопытную историю я рассказал? — поинтересовался Казаков, закончив свое повествование.

Я согласился, что эпопея его вторичного ареста весьма примечательна, но чем-то исключительным она не показалась. Мне уже были ведомы истории с опровержением на суде ранее подписанного вымысла на себя — и они иной раз спасали от «вышки». В частности, мой друг Виктор Петрович Красовский, экономист, в юности любимец самого Бухарина, был обвинен в организации покушения на Орджоникидзе. И признался, что покушение уже было подготовлено в Москве, и назвал точную его дату, но дни подобрал такие, когда Орджоникидзе находился в длительной командировке в Средней Азии. На суде Красовский указал на фальшивые даты — и суд, вместо запланированного расстрела, ограничился стандартной «десяткой».

Был еще один забавный случай неряшливо сформулированного следователем обвинительного заключения, и о нем я тоже рассказал Казакову. Один из моих знакомых, Борис Львович Гальперин, вероятно, самый полный человек в нашей зоне, инженер-конструктор и коминтерновский тайный агент, объездивший на пользу разжигаемой в те годы мировой революции добрую полусотню стран в обоих полушариях, завершил свои интернациональные странствия на Лубянке. И предъявленное обвинение — шпионаж в пользу иностранных разведок — относилось по тем временам к самым естественным для такого человека, как он: побывал в капстране, ну как же не соблазниться возможностью изменить своей родине! Борис Львович и сам понимал, что от шпионажа не отвертеться, все другие измышления — вредительства, диверсии, подготовка интервенции — лепились к нему, как горбатый к стенке. Он страшился третьей степени воздействия — уже многие сокамерники попробовали ее, и редко кто не превращался в инвалида, а бывало, расставались и с жизнью. После недолгого запирательства он согласился на шпионаж. В таком признании были свои преимущества: шпионство — дело индивидуальное, сразу отпадал очень отягчающий судьбу пункт одиннадцатый пятьдесят восьмой статьи — коллективное сообщество для организации преступления. Зато были и свои опасности — смотря в пользу какого государства шпионишь. И Борис Львович размышлял, какую страну из тех, где он побывал во время коминтерновских странствий, выставить как объект своих преступных действий. Англо-Французский блок или Америку? Но где гарантии, что Советский Союз когда-нибудь не вступит в прямую войну с буржуазными демократами? Тогда шпиону этих государств форменная крышка! Еще вероятней война с фашистскими державами — тоже от вышки не отвертеться. И в результате долгих дум Борис Львович нашел единственную пригодную державу — неоднократно в ней бывал, нам она враждебна, но вероятность ее военного столкновения с Советским Союзом практически нулевая.

— Правильно, что сознаешься в шпионаже, — похвалил следователь, готовясь заполнить очередной протокол допроса. — На суде учтут твое чистосердечное признание. Кем же ты был — англо-французским или немецким шпионом? Или с Японией сотрудничал?

— Ни тем, ни другим, ни третьим, — твердо возразил Борис Львович. — И не шейте мне, пожалуйста, этих заклятых врагов нашего социалистического строя. Пишите: вел шпионаж в пользу Уругвая.

Возмущенный следователь бросил перо на стол.

— Ты что мне пудришь мозги? Твой Уругвай даже армии не имеет и славен одной футбольной командой. Или ты шпионил в пользу чемпионов мира уругвайских футболистов? Раз уж признался в шпионаже, так называй наших настоящих врагов.

Но Борис Львович твердо стоял на Уругвае. Следователь долго уговаривал, вызвал для убедительности двух сержантов, те в кровь обработали Бориса Львовича. Убедившись, что ни словесные, ни кулачные аргументы не эффективны, следователь с сожалением отказался от заманчивого шпионажа в пользу великих держав.

— Хрен с тобой, пусть Уругвай! — покорился он. — Но не надейся на выигрыш. И за Уругвай, и за Германию, и за Англию получишь один и тот же срок. И отсидишь одинаково за свои преступления, как ни виляешь хвостом.

Борис Львович, однако, оказался лучшим аналитиком, чем следователь. В конце лета 1945 года прозвонил конец его лагерного срока, но извещения об освобождении не пришло. Борис Львович упросил главного механика комбината Ботвинова поехать в УРО — учетно-распределительный отдел лагеря — и лично доведаться, почему задержка с освобождением. Ботвинов вернулся расстроенный. Из Москвы пришло новое указание — лиц, осужденных за шпионаж, на волю не выпускать до особого распоряжения. Ботвинов сокрушенно развел руками: рад бы увидеть тебя на воле, пригласил бы к себе домой на стаканчик-другой, да ничего не выйдет, против запрета из Москвы не попрешь!

Борис Львович взмолился:

— Степан Игнатьевич, поезжайте еще раз в УРО. Не верю, что чохом всех шпионов... Наверно, точно указано, какие, в пользу какой вражеской страны. Ведь речь о жизни, поймите!

Ботвинов снова поехал в Управление лагеря.

— Силен твой бог, Борис! — радостно объявил он по возвращении. — Вместе с полковником Двином, начальником УРО, дважды перечли московское постановление насчет задержки шпионов, которые отмотали свой срок. Длиннющий список стран, почти тридцать названий, чьих разведчиков не освобождать. Вся западная Европа, половина Америки, а Уругвая — нет! Двин дал указание готовить тебе документы на волю.

Так Борис Львович Гальперин вышел на свободу благодаря своему пророческому предвидению международной ситуации, в то время как многие другие его лагерные товарищи, такие же шпионы, остались еще на несколько лет за проволокой, когда завершился их официальный судебный срок.

Все это я поведал Казакову — они с Борисом Львовичем жили в разных лагерных зонах, лично не встречались, а мы с Гальпериным были соседи, и я уважал и любил этого умного и доброго человека, даже в лагерном полуголодном существовании не потерявшего свою природную полноту.

— Точно, точно — неисповедимы Господни пути, проложенные им за колючей проволокой, особенно если по ним шагает умный человек, — сказал Аркадий Николаевич. — Однако, согласитесь, необыкновенностей у меня все же побольше, чем у вашего Бориса Гальперина. Итак, подведем предварительные итоги. Главное о себе я вам открыл. Поговорим теперь о вас. Какого вам черта в этой треклятой японской турбине?

### 5

Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что охотно откликаюсь на просьбу Аркадия Николаевича. Дело, каким я стал заниматься, относилось к самым засекреченным. Я незадолго до того расписался в грозной бумажке, что мне доверена государственная тайна и что разглашение ее наказывается сроком от 15 до 25 лет тюремного заключения, а в особых случаях не исключен и расстрел. И на служебных бумагах, отправляемых в Москву заместителю наркома Берия по строительству Авраамию Павловичу Завенягину, я сам старательно выписывал сакраментальный гриф: «Совершенно секретно. Особая папка», — означавший, что бумаги такого рода должны храниться только в помещениях, где есть вооруженная охрана, и пересылаться не по почте, а посредством фельдсвязи.

И я с трудом подбирал слова, стараясь объяснить Аркадию Николаевичу, сколь важно задуманное в Норильске новое строительство, и вместе с тем не объясняя по существу, почему оно так важно.

Аркадий Николаевич прервал мое туманное меканье уже на второй минуте.

— Все ясно. Наводите тень на плетень. Чепуха. В Норильске каждый мальчишка знает, что будете изготовлять атомную бомбу. Ну, не полную конструкцию, а ее детали. Николай Николаевич Урванцев отправился на Шхеры Минина в Ледовитом океане разыскивать уран, а у нас будут смешивать уран с какой-то тяжелой водой. Разве не так? Недаром в Норильске называют ваш объект «шоколадной фабрикой». Отличное название для военного завода — шоколадка!

— Я слышал и другое название — макаронка, — заметил я.

— Один хрен — шоколадка или макаронка. Тут все ясно. Другое непонятно: как вас с вашими тяжелейшими статьями — пункт восьмой, террор против руководителей партии и правительства, пункт десятый, антисоветская агитация, пункт одиннадцатый, участие в контрреволюционной организации, допустили в секретную технологию?

— Да уж так получилось, — скромно ответил я.

— Вижу: радуетесь, что сподобились войти в святая святых. Но остерегайтесь. Наши статьи — свинцовый груз на спине барахтающегося в волнах. В любой момент может потянуть на дно.

— Постараюсь удержаться на плаву. Что мне еще остается?

Казаков все же обладал пророческим даром. Уже немного оставалось времени, когда тяжелейшие мои статьи, точно, превратились в непреодолимое препятствие для дальнейшей работы в секретной технологии. Но он ошибся в другом — я не с горестью, а радостью воспринял этот «свинцовый груз на спине». Выход из секретной области в обычное производство был подобен вторичному — после лагеря — освобождению.

И в знании того, чем мы занимались на «шоколадке», он тоже ошибся. Хочу на этом остановиться подробней — здесь состоялась важная часть моей жизни.

В 1944 году главный инженер комбината Виктор Борисович Шевченко даровал мне «ноги» — пропуск для бесконвойного хождения вне лагерной зоны. Я стал постоянным посетителем запретной до того городской библиотеки и с головой погрузился в новости тогдашней физики. А в этой науке в те годы произошла революция. В Берлине физико-химики Отто Ган и Фриц Штрассман в декабре 1938 года открыли, что ядра тяжелейшего элемента урана при бомбардировке их нейтронами раскалываются на две и более части. Потом подсчитали, что при этом выделяется энергия, в миллионы раз превосходящая ту, что дает сгорание угля или бензина. Было выяснено, что тяжелая вода, содержащая в себе не простой атом водорода, а водород вдвое тяжелей, дейтерий, замедляя нейтроны, способствует процессу распада урана.

Я жадно поглощал все, что печаталось о выделении внутриядерной энергии. Во всех крупных странах лихорадочно ускорялись исследования по физике ядра. Во Франции Фредерик Жолио еще перед войной возводил атомный реактор на смеси урана с тяжелой водой для производства промышленной энергии. В Америке Энрико Ферми с интернациональным коллективом строил энергетический реактор на графите вместо труднодоступной тяжелой воды и начал разрабатывать первую конструкцию ядерной бомбы. У нас в Союзе Игорь Курчатов занимался такими же экспериментами, а Юлий Харитон и Яков Зельдович печатали свои теоретические расчеты реакций, ставших основой ядерных бомб.

Больше всего меня заинтересовала физика тяжелой воды. Дейтерий, тяжелый водород, получали в те годы путем электролиза обыкновенной воды, в которой он содержался в пропорции 0,02% по отношению к водороду обычному. В первые годы пребывания в Норильске я занимался и электролизными ваннами в Опытном Металлургическом цехе. Главная трудность в электролитическом получении дейтерия заключалась в том, что нужна была трата огромного количества энергии для высвобождения воды тяжелой из воды обыкновенной.

Тогда же, весенние дни радостного блуждения по тундре, благодаря картонной карточке на «ноги» я приметил одно немаловажное явление. В апреле и начале мая в ясные погоды солнце уже припекало порядочно, но холод еще держался не выше —10—20°. В результате нагреваемый с поверхности снег не таял, а испарялся. Я садился на пригорочке, и меня обволакивало легким паром, а даль скрывалась в седоватом мареве. И я думал о том, что весна в Заполярье — природный сепаратор: молекулы воды, содержащие легкий водород, испаряются проще, чем тяжеловодородные. Стало быть, в остающемся снеге естественно концентрируется тяжелая вода. Потом я узнал в местной «Лаборатории вечной мерзлоты», что снега в иные годы испаряется больше половины. И процесс этот совершался год за годом в течение миллионов лет. Я приблизительно подсчитал, что вода в озерах Крайнего Севера обогащена на 20—25% тяжелой водой сравнительно с водой в средних широтах. Это означало, что для получения тяжелой воды на севере надо затратить чуть ли не втрое меньше электроэнергии, чем на юге — экономия исполинская.

В 1946 году я участвовал в отборе пробы воды из одного тундрового озерка. В Москву было отправлено фельдсвязью две бутылки из-под шампанского с озерной водой. Точный анализ в «хозяйстве Курчатова» показал обогащение всего в 13%. Но и этого было достаточно для двукратной экономии электроэнергии. Производство тяжелой воды из полярных озер становилось экономически выгодным.

Вышел я из заключения вскоре после окончания войны — 9-го июля 1945 года. Не прошло и месяца, как, 6-го августа, из Хиросимы донесся зловещий голос новой эпохи — первая ядерная бомба превратила в море огня и пепла почти полумиллионный город. Через несколько дней после этого злодеяния меня вызвал директор управления Металлургических заводов Алексей Борисович Логинов. Как и все мы, он был потрясен сообщением газет.

— Вы физик, — сказал он мне. — Можете объяснить, что за штука эта ужасная атомная бомба?

— Конечно, нет, — ответил я. — Конструкция атомной бомбы принадлежит к величайшим американским секретам. Но какие физические явления использованы в бомбе, сказать не трудно. Наша Норильская библиотека полна журнальных статей и обзорных книг, трактующих возможности взрывного и промышленного высвобождения энергии атома.

— Так отведите несколько дней на просмотр всего, что найдете в библиотеке, и доложите нашим заводским инженерам, что вычитали.

И 16 августа, в зале дирекции заводов, я сообщил своему инженерному металлургическому братству, что писали о внутриядерных процессах разные физики мира. В основу сообщения я положил напечатанные доклады Игоря Курчатова, теоретические заметки Юлия Харитона и Якова Зельдовича, статьи Нильса Бора и многих других — факты были из самых солидных источников.

Лекция давала какое-то представление о физических принципах нового оружия. Неудивительно, что уже третьего сентября пришлось повторить доклад для вольнонаемной интеллигенции города в ДИТРе — Доме инженерно-технических работников.

А на другой день ко мне в лабораторию теплоконтроля, размещавшуюся в обжиговом цехе Большого Никелевого завода, пришли два московских эксперта — профессор Александр Альбертович Цейдлер и незнакомый мне невысокий человек в больших, для того времени, очках, прикрывающих пристальные до резкости глаза.

— Мы вчера были на вашей лекции, — сказал Александр Альбертович. — Знакомьтесь: Илья Ильич Черняев, академик, директор Института Общей и Неорганической химии Академии наук.

С профессором Цейдлером я, еще будучи заключенным, состоял в хорошем знакомстве. Консультант Норильского комбината по производству никеля — он называл его по старому никкель, — Цейдлер часто приезжал из Москвы и каждый раз посещал мою лабораторию, интересуясь, произвожу ли я какие-нибудь научные исследования наряду с производственной практикой. Научные мои потуги были, естественно, микрозначительны, но из честности характера Александр Альбертович несколько раз помянул мою фамилию в обширном своем курсе «Металлургия никеля». А о Черняеве я знал лишь то, что он крупный специалист по металлам платиновой группы. В близком будущем ему предстояло стать известным не только химикам, но и всем ядерщикам. Спустя три года он первым в стране получил металлический плутоний, главную взрывчатку атомной бомбы. Блистательный его путь в науке вскоре будет отмечен Сталинскими премиями в 1946, 1949, 1951 и 1952 годах — практически все за достижения в ядерной технологии.

— Мне понравилась ваша лекция, — сказал Черняев. — Вы обладаете способностью популярно излагать довольно сложные явления. Имею к вам особый вопрос. Не можете ли предложить что-либо интересное для начинающегося у нас тура ядерных исследований?

Я рассказал о естественной концентрации дейтерия в испаряющемся на холоде северном снеге. Черняев попросил написать подробную записку об этом явлении. Такую записку я составил, присовокупив, что нужно ожидать значительной экономии электроэнергии при производстве тяжелой воды в Заполярье. Записка ушла в Москву. Дальнейшие события не заставили себя ждать.

Прежде всего меня вызвал к себе начальник Норильского комбината генерал Александр Алексеевич Панюков. В обширном кабинете сидело человек 10—15: главный инженер Владимир Степанович Зверев, Алексей Борисович Логинов, Александр Романович Белов, незнакомые мне начальники норильских заводов и деятели местного НКВД-МГБ. Почти все — люди, бесконтрольно командовавшие судьбами — жизнью и благополучием — ста тысяч норильчан, заключенных и выбравшихся из-за колючей проволоки на кажущуюся «волю», но отнюдь не причисленных к рангу чистопородных граждан. Я привык страшиться этих людей. И, естественно, испытывал смятение, выступая перед ними с техническим докладом.

— До сих пор мы с вами посещали политчасы, — сказал Панюков собравшимся. — Сегодня технический час: нам объяснят, что такое тяжелая вода и для какого дьявола нам нужно ею заниматься.

А спустя короткое время после того «технического часа» в Норильск прилетел сам начальник Гулага — той части его, которая охватывала лагеря горно-металлургической промышленности, — генерал-майор Петр Андреевич Захаров. И тоже вызвал меня поспрошать о производстве тяжелой воды на севере. После Захарова, уже зимой, снова появился Черняев и сообщил, что в Норильске решено начинать производство тяжелой воды, что технология — электролиз обычной воды и что я буду участвовать в налаживании процесса. И в заключение подарил только что переведенную у нас книгу американского ядерщика Г. Д. Смита «Атомная энергия для военных целей» — официальный отчет правительства США о производстве ядерной бомбы.

— В Академии наук нам дали по экземпляру, — сказал Черняев. — Я специально достал для вас, вам она теперь понадобится.

И в скором времени в Норильске началось строительство засекреченного объекта, получившего тут же хлесткое прозвище «шоколадка» (потом название переделали на более соответствующее нашему убогому быту, где шоколад отнюдь не в ходячих блюдах, — «макаронка»). Начальником строительства назначили местного инженера Бориса Михайловича Хлебникова, главным инженером — приехавшего из Москвы довольно серого Виктора Дмитриевича Кузнецова, а меня запроектировали в главные инженеры будущего дейтериевого завода — буду наблюдать пока за соблюдением технологии электролитического процесса. А чтобы получал зарплату и повышенный паек, назначили меня начальником лаборатории редких и малых металлов. Все это был, естественно, камуфляж — хотя дейтерий и можно причислить к редким металлам в газообразной или жидкой фазе, но самой лаборатории не существовало и даже не делалось попытки ее строительства.

Нам троим — Хлебникову, Кузнецову и мне — отвели две комнатки в Управлении комбината, дали машинистку, двух лаборанток для несуществующей лаборатории. Все три женщины получили «секретность» и неплохие ставки. Машинистка Лосева печатала письма и отчеты, уходящие в Москву, пожилая лаборантка Мчедлишвили, уверявшая, что она близкая подруга Нины Берия, бывшей жены наркома, пропадала в очередях за продуктами или развлекала меня рассказами о своей подруге и ее страшном муже, а юная Оля Найденова сопровождала меня в прогулках по окрестностям Норильска, если позволяла погода, — впрочем, у Оле и мне умеренные морозы не казались препятствием для совместного радостного блуждания вдали от людей.

В эти дни было у меня еще одно — уже неслужебное — занятие, и оно воображалось самым важным из всего, что я мог делать. Я засел за теорию электролитического разделения изотопов водорода, то есть двух его разновидностей, тяжелого дейтерия и легкого обычного водорода. Я знал, что математической теории этого процесса не существует — экспериментально полученные цифры не укладывались ни в какие формулы. Но я применил к дейтерию теорию, разработанную академиком Александром Наумовичем Фрумкиным для обыкновенного водорода, — и получил довольно сложную формулу, точно описывающую весь практический ход электролитического процесса.

Я несколько раз в своей жизни был глубоко и всеполно счастлив. Ночь, когда — уже дома — я закончил практическую проверку найденной формулы, относилась к таким замечательным случаям. Я топал ногами и кричал от радости — негромко, впрочем, чтобы не разбудить соседей. Я был больше, чем просто счастлив. Я безмерно гордился собой. У меня ходила голова кругом, впереди открывались сияющие перспективы! Отныне мне надлежало быть не просто ученым, то есть человеком, вместившим в свои мозги некую сумму добытых другими знаний, но и создателем собственной теории — и очень новой, и очень важной теории — существенный вклад в лихорадочно разрабатываемые во всем мире исследования. Остановившись посреди комнаты, я громко сказал самому себе:

— Надо писать в трех экземплярах подробный доклад: «Теоретические основания электролитического разделения изотопов водорода». Один экземпляр в Академию наук академику Фрумкину, другой в НКВД Завенягину, а третий оставлю себе для практического пользования на нашем заводе, когда его выстроят.

На другой же день я сел писать задуманный доклад.

И как раз в это время над строительством «шоколадки» сгустились тучи. Расчет электроэнергии, необходимой для первой очереди завода, дал цифру в 100 000 киловатт. Мощность такого размера была гораздо ниже, чем потребление мощности в южных местах, где не имелось природно обогащенной воды. Но это не могло нас утешить — Норильская станция не имела резервных генераторов для «шоколадки». Нужно было срочно отыскивать новые крупные генераторы, привозить их в Заполярье и монтировать рядом с уже имеющимися. Начался лихорадочный поиск по всей стране свободных электротурбин. Но в стране, разоренной недавно закончившейся войной, каждый генератор числился в величайшем дефиците — десятки ведомств и министерств дрались в Госплане за наряды на еще не построенные на наших заводах и привозимые из-за границы турбогенераторы. Завенягин сообщил в Норильск, что удалось получить турбину с генератором фирмы Мицубиси мощностью в 50000 киловатт, что она демонтирована в Манчжурии, доставлена в Новосибирск — можно везти ее в Норильск.

Ликование от радостного известия быстро сменилось озабоченностью, когда пришли технические данные на эту турбину. Японцы возвели в Манчжурии самую крупную в Азии электростанцию. Фирма Мицубиси смонтировала на станции одиннадцать турбогенераторов. Десять прекрасно работали, а одиннадцатый до самого конца войны пустить не удалось. В турбине, видимо, были какие-то внутренние пороки, но инженеры фирмы так и не сумели их ликвидировать ко времени, когда наши войска вторглись в Манчжурию. Все одиннадцать турбин были демонтированы самими пленными японцами и отправлены в Советский Союз. Десять мгновенно расхватали, а от одиннадцатой самые жаждущие отшатнулись. Время было не такое, чтобы опрометчиво ввязываться в рискованные дела. И московское начальство, разрешая забрать турбину, по-своему честно предупреждало о том, что надо обладать незаурядной технической смелостью, чтобы воспользоваться этим разрешением.

Строительство дейтериевого завода продолжалось, но реальность его возведения стала весьма проблематичной.

Решение должно было принадлежать местным турбинщикам. Практически оно зависело от одного Аркадия Николаевича Казакова. Он, еще заключенный, многократно обвиненный во вредительстве, должен был сделать с турбиной то, что не сумели сделать с ней ее создатели, квалифицированные инженеры фирмы Мицубиси. Если его постигнет неудача, от нового срока — и, наверно, до конца жизни — он уже не избавится. Правда, мне сказали, что он выразился в обычном своем стиле: «Тащите этого поганца, японского энергонедоделыша — посмотрю, на что он годится». Казаков, конечно, был гением монтажа, но объявленное им решение было все же слишком развязным, чтобы породить спокойствие.

Я пришел к нему, чтобы убедиться в его серьезности, ибо слишком многое зависело в моей собственной жизни от его инженерного умения и простой человеческой смелости.

### 6

— Ясно только то, что нет ничего ясного,— подвел Казаков итоги нашей непродолжительной беседы. — Впрочем, вы напрасно секретничаете. Столько о «шоколадке» слухов, что они стократно перекрывают все, что вы сами знаете и что могли бы мне сообщить. Перейдем к делу. Где сейчас турбина?

— Хлебников известил нас, что ее доставили в Новосибирск.

— Наряд на турбину, точно, получен?

— Получен. С началом навигации на Енисее ее привезут в Дудинку. За ее перевозкой наблюдают ответственные чины из НКВД.

— Наблюдатели! Всех их технических умений — пить и орать на зеков: «Раз-два — взяли!» Внутренних неполадок в турбине не так боюсь, как ее перевозки. Охранители могут такое наворотить! Потеряют какой-нибудь ящик с деталями при перевозке. Могу смонтировать любую уродину, но установить на место то, что отсутствует, не берусь. Итак, поедем в Дудинку. Начальство все приготовило?

— Наверно, все. А чего вы хотели бы?

— Прежде всего — спирт для промывки деталей. И особо — для нас с вами. Закажите две автомобильные канистры спирта. И пусть предварительно вытравят из них запах бензина. Все это — первый пункт.

— Слушаю второй.

— Второй — жратва. Сидеть на лагерной баланде в Дудинке не собираюсь. Раз командировка, значит, командировочный паек — американские консервы, масло, хлеба вдоволь. В общем, что получат вольные погоняльщнки в погонах, то и мне.

— Уверен, что это не вызовет затруднений.

— Тогда все. До встречи в Дудинке.

Встреча состоялась спустя примерно месяц, когда сообщили, что турбина прибыла в Дудинку. Из Норильска приехала бригада мастеров и инженеров, подчиненная Казакову. Все были вольнонаемные, один Казаков еще пребывал в зеках. По режиму ему полагалось поселиться в Дудинском отделении Норильлага, но начальство понимало, что это вызовет осложнения в работе — лагерь находился в отдалении от портовых складов, где разместили драгоценный груз. Но и переводить Казакова, хотя бы временно, на положение вольнонаемного не решились. Выход нашли в том, что выделили Казакову охранника, и не простого стрелка с «дудергой» на плечах, а заматерелого пьяницу с погонами майора. Майор всюду молчаливо шлялся с Казаковым, ни во что не вмешивался и оживлялся только, когда Казаков, уставая от хлопот, громко говорил, я сам не раз это слышал:

— Рожа у тебя, братец, такова, что только взглянешь, вмиг внутри заноет — выпить надо... Расстарайся насчет пивного и жевательного.

Такие поручения майор выполнял с охотой — и не боялся оставлять Казакова одного на время пивных и жевательных добыч.

Бригада приемщиков и наладчиков разместилась в местной гостинице. Нам отвели двухкомнатный номер — он быстро превратился в битком набитое общежитие. Здесь поселился и Казаков со своим майором, здесь ночевали и помощники Казакова. Двухкомнатный номер окрестили штабом наладчиков, но никто и не подумал использовать помещение для служебных дел. Всех тянуло сюда нечто гораздо более привлекательное, чем заполнение рабочих журналов, хотя для таких записей имелся настоящий письменный стол. Входящие разом направлялись к столику, поставленному поодаль. На столике возвышались два графина — один с чистым спиртом, еще ожидающем разбавления, и другой с уже наполовину разбавленым. Все посетители хорошо знали, где что налито, и не перепутывали графины.

Лишь однажды случилась путаница, не имевшая, впрочем, плохих последствий. Из Москвы прибыл полковник из «органов» — наблюдать за приемкой турбины. Полковник был важен и груб, с подозрением присматривался даже к вольнонаемным — все, мол, вы тут бывшие судимые, знаю вашу вредительскую натуру. Он, естественно, ничего не понимал в технических делах, но это отнюдь не мешало его функциям зычного погонялы.

Казаков, войдя, налил себе полстакана разбавленного спирта и сделал выразительный жест полковнику — угощайтесь. Тот наполнил две трети стакана, лихо опорожнил, крякнул и снова стал наливать — но уже из графина, где был чистый спирт. Нам показалось, что ему просто захотелось пойла покрепче и он сейчас попросит воды, чтобы разбавить по вкусу. Кто-то уже поспешил к крану, но полковник единым махом опрокинул стакан в рот и окостенел от неожиданности. Спирт обжег все во рту, полковник потерял голос, дико выпучил глаза и только шевелил губами, пытаясь что-то произнести. Никто не сомневался, что, обретя голос, он разразится проклятиями, пообещает всех нас посадить и сгноить в лагере, — он уже в таком стиле выражался на складе, когда видел, что рабочие что-то делают не так быстро и ладно, как ему хотелось.

Но полковник только прохрипел, когда достало сил на голос:

— Закусить!

Кто-то достал из ящика кусок колбасы, и полковник поспешно вгрызся в нее. А мы с Казаковым разразились хохотом. К чести полковника, и он, когда пришел в себя и убедился, что не задохся, присоединился к нашему веселью. В комнате стоял хохот и разгульные выкрики.

Больше всего меня тревожило, что скажет Казаков, когда воочию убедится, какое изделие нам доставили. Он не спешил с приговором, пока не развернул с десяток укутанных в вощеную бумагу лопастей и деталей поменьше. Тогда душа его сама не вынесла молчания.

— Ну, японцы! Ну, японцы! — сказал он, качая головой. — Ведь пленные, побежденные, бесплатно отдавали свое имущество лютому врагу, так это надо квалифицировать по нашей морали. А как старались! Как умело разбирали и окутывали все части. Не простая работа — мастерство! Отлично изготовленная, отлично демонтированная турбина, должна работать только отлично.

— Но она у японцев не работала, — сказал я.

Казаков пожал плечами и усмехнулся. У него была очень выразительная усмешка — всегда разная и всегда красноречивая, как хлесткие слова. В данном случае он улыбался победно, он заранее предвидел успех.

— Не работала, да. Но почему? Наладка турбины не только техника, она сродни искусству. Вот тут их наладчики подкачали. Возможно, сказалось, что дело уже шло к поражению, руки опускались. А всего вероятней — не хватило времени для вдумчивого неторопливого монтажа. У них хоть и не бытует наше «давай-давай!», но в конце войны тоже не разрешалось валандаться...

Два происшествия запомнились мне в дни «дудинского сидения». В какой-то из вечеров ни Казаков, ни охранявший его майор не воротились в гостиницу. Особенно тревожного в том не было, хотя заключенному, даже со своим личным охранником, не полагалось в пьяном виде шататься по ночному городу, а что оба они пьяны и потому задержались, я ни минуты не сомневался. Но я оказался прав лишь наполовину. Под утро в гостиницу ввалились оба. Казаков, лишь слегка под хмельком, с трудом тащил «полностью бухого» майора. Уложив своего охранника на диван, Казаков вынул из своего кармана пистолет и передал мне.

— Спрячьте, это его. Нажрался, черт! Никогда не думал, что придется стать конвоиром своего охранника.

— Да что случилось с вами?

Казаков объяснил, что майор вечером отпросился у него посетить приятеля, живущего в Дудинке. Я уже знал, что отношения у Казакова со своей охраной сложились своеобразные: не майор опекал своего подконвойного зека, а зек Казаков следил, чтобы его конвоир не попадал в неприятности и, во всяком случае, далеко не отлучался. В данном случае майор именно чрезмерно отлучился и до полуночи не явился охранять Казакова. В середине ночи встревоженный Казаков отправился на розыск своего конвоира. Квартиру приятеля майора он знал, уже не раз там с майором приятно проводили свободное время. Оба они, и майор, и его приятель, сидели за столом, но уже «в дымину готовые», и бессвязно что-то бормотали, таращась «во все глазенапы». Казаков тоже принял немного для бодрости и потащил майора в гостиницу. По дороге тот упал, из кармана у него вывалился пистолет. Чтобы майор не потерял оружия, Казаков положил его в свой карман.

— Три раза он по дороге падал, и я с ним, — поделился Казаков ночными происшествиями. — Больше всего боялся, что попадется нам вооруженный патруль. Мне-то ШИЗО — максимум, да и из него начальство вызволит, а ему? Разжалование, увольнение из армии, а на что он без своих погон годится? Всю дорогу жалел, что не оставил его у приятеля, пока не очухается. Теперь посплю.

Казаков проспал до полудня сном праведника. А майор проснулся утром и сразу в ужасе схватился за пустой карман. Я не удержался от соблазна помучить его и воротил пистолет, когда он готовился уже рвать волосы от отчаяния. Впоследствии воспоминание о ночном событии часто бывало у Казакова и опекаемого им охранника поводом для смеха.

Второе происшествие было из тех, что смеха не вызывают и горестно запоминаются на всю жизнь.

В бухгалтерии порта, среди прочих заключенных, я заметил женщину моих лет, худую, не очень красивую, зато с резко очерченным, умным и волевым лицом — не то помощницу бухгалтера, не то счетовода. Но не умное и властное лицо было в ней необычно, женщины такого рода в лагере встречались нередко, особенно среди жен недавно высокопоставленных «врагов народа». Необычным у женщины были ее волосы. Я никогда не встречал копны такой покоряющей красоты. Густые, цвета молодого каштана, природно волнистые, сияющие каким-то внутренним светом, они вздымались аурой вокруг головы, с трех сторон закрывали шею. И даже некрасивое, исхудалое лицо казалось порой почти прекрасным в великолепном обрамлении блестящих волос.

При первом же появлении в бухгалтерии я засмотрелся на волосы этой женщины и потом пользовался любым случаем посетить бухгалтерию и полюбоваться на них — чаще всего ходил подписывать требования на материалы со склада. Женщина быстро заметила, что меня интересует не так подпись на требованиях, как ее волосы — она хмурилась, ей не нравилось мое разглядывание.

Однажды я пришел за час до развода заключенных. Она сидела одна, вольнонаемные из бухгалтерии уже ушли. У меня были в портфеле не то конфеты, не то пирожные, купленные в гостиничном буфете. Я угостил ее, она без большой охоты взяла. Она еще не знала, с какой целью я явился в бухгалтерию без требований на склад, и явно не собиралась поощрять ухаживание.

Я прямо сказал, чтобы не бродить зигзагами:

— Ваши волосы поражают меня. Вам, наверно, часто говорили, что они удивительно красивы.  Я скажу сильнее — восхищающе красивы.

Она взмахнула головой. Волосы взметнулись, обнажив худую шею, и снова мягко улеглись на плечи. Она сказала глухим голосом:

— Ненавижу свои волосы. Столько горя мне принесли!

Я поинтересовался, как волосы могут стать причиной горя. Она ответила — история вины ее волос настолько невероятна, что никто не верит, и потому она закаялась об этом рассказывать. Но я настаивал — достаточно деликатно, чтобы она не рассердилась. И она понемногу разговорилась.

История, и вправду, была горестна и необычайна. Она жила в Ленинграде, рано вышла замуж, детей почему-то не заводилось. Молодой муж захотел пойти в военные и подал заявление в военно-инженерный институт. Она поступила туда же, чтобы везде, куда бросит судьба, они были вместе не только как члены одной семьи, но и как равные на одной работе. Он определился в танкисты, танкисткой стала и она, хотя пришлось отправить много просьб высшему начальству — профессия была отнюдь не женская. Впрочем, в тридцатые годы всех женщин охватила эпидемия овладевать мужскими делами и службами. В газетах было полно репортажей о знатных трактористках, водительницах паровозов, летчицах, строительницах и даже шахтерках... И после долгих хлопот ее допустили в танкисты. А в 1937 году они с мужем закончили институт. Он получил тяжелый танк, она одноместную танкетку — легкая машина была все же сподручней женщине.

В том же 1937 году ее с мужем направили в Испанию — укреплять военные силы республиканцев. Муж вскоре стал из простого танкиста командиром танкового соединения, а она на своей танкетке пошла воевать против франкистов, наседавших на республиканские войска.

И где-то произошло то, что сделало ее несчастной на всю оставшуюся жизнь. С утра шел бой, республиканцы отражали атаки франкистов, потом сами перешли в наступление, но сумели только отбросить врагов до их брустверов. В отпоре франкистам действовала — и лихо действовала — ее танкетка. Но недалеко от вражеских позиций шальной снаряд сорвал трак на одной гусенице. Танкетка замерла на месте. Республиканцы, поняв беспомощное положение их боевой подруги, пытались подползти к ней, чтобы навесить сорванный трак. Но франкисты открывали такой яростный огонь, что страшно было поднять над землей голову. Вскоре она поняла, что помощи от своих не дождаться. Она пыталась сама вылезти из машины, но франкисты начали стрелять и по ней — она снова спряталась. А между тем подходил вечер. Солнце освещало ее танкетку ярким закатным сиянием. Она со страхом думала о том, что скоро в темноте мятежники захватят ее вместе с машиной. Конечно, она могла выскользнуть из танкетки и попытаться ползком добраться до своих, но уж очень позорным ей показалось отдавать в добычу врагу свою машину, да и уверенности не было, что ее саму не ранят или не убьют во время бегства. В отчаянии — будь что будет — она снова распахнула люк, выскочила наружу и стала ломиком насаживать трак. Франкисты снова открыли огонь, но пули просвистывали мимо. В дикой спешке она сорвала шлем с головы, чтобы пот не заливал глаза. Волосы рассыпались по плечам. И мгновенно прекратился обстрел. А спустя несколько секунд на бруствер высыпали франкисты и ликующе орали, и били в ладоши. Настоящего испанца не могла не покорить отважная женщина, сражавшаяся с ними в бронированной машине, а теперь смело выскочившая под обстрел. И все те минуты, что она налаживала трак, они не переставали орать, аплодировать и выкрикивать приветствия. А когда она завела танкетку и двинулась к своим, такие же аплодисменты и радостные крики встретили ее и там. В тот день она воистину стала героем для обеих сражающихся сторон.

Вскоре ее и мужа отправили обратно в Ленинград — долгое сражение переламывалось в пользу франкистов, наших специалистов постепенно отзывали назад.

В Ленинграде ее арестовали. И уже на первом допросе молодой наглый следователь ошеломил немыслимым вопросом:

— Расскажи, как ты сигналила распущенными волосами своей агентуре у мятежников, что свой человек и что стрелять в тебя нельзя.

Возмущенная и растерянная, она пыталась доказать, что произошло естественное событие. Мятежников поразило, что против них воюет женщина, они не могли не выразить своего мужского восхищения.

Следователь покривился, словно попробовал желчи.

— Не мути воды! Нас не задуришь идиотскими россказнями. Франкисты — кто? Фашисты! А у фашистов, это всему миру известно, ни стыда, ни совести, ни чести. Уважение к женщине! Нет, говори правду. Называй пофамильно, с кем держала преступную связь посредством распущенных волос.

Недолгие допросы закончились тем, что тот же хлыщеватый следователь позвал оперативника и они вдвоем избивали бывшую танкистку, таскали ее за роскошные волосы, держали часами под мощной электрической лампой, пока она не теряла сознания. Только когда, вконец обессиленная, она подписала дикий поклеп на себя, от нее отступились, то есть отправили на лживый суд, который определил ей десять лет заключения.

— Мужу дали орден, а я девятый год меняю одну тюрьму на другую, один лагерь на другой, — закончила она свое печальное повествование. — Одно утешение: в будущем году кончается мой срок, выйду на волю. Правда, пошли слухи, что осужденных за измену родине, а это моя статья, не выпускают, а довешивают новый срок. Как вы думаете — это правда?

Я уверил ее, про себя совсем не уверенный, что освободят непременно, ибо она по судейскому определению изменяла не родине, а только чужой испанской республике, а та, к тому же, все равно потерпела поражение и ее давно не существует. Это не могут не учесть. На этом кончился наш разговор: вошел бригадир и приказал ей собираться в лагерь, уже явился стрелок конвоировать в зону.

Казаков, когда я ему передал этот разговор, сперва долго матерился, потом выпил больше своей обычной нормы, что не помешало ему завтра уверенно продолжать осмотр и оценку распаковываемых деталей турбины. Он давно лишился главных мужских достоинств, но уважение к женщине, сочувствие к ее слабости осталось в нем.

Скоро я уехал из Дудинки в Норильск и уже больше не встречался с бывшей танкисткой, осужденной на десять лет за свое военное мужество. И так и не узнал, выпустили ее в следующем году на волю или привесили новый срок, когда завершился старый.

Казаков, закончив приемку турбины, доставил ее в Норильск и безотлагательно приступил к монтажу на специально выделенной площадке действующей ТЭЦ. Монтаж завершился блестящим успехом. Одиннадцатая турбина фирмы Мицубиси, которую не могли пустить сами японцы и от которой в страхе шарахались наши энергетики в городах, томившихся от недостачи электроэнергии, после пробных пусков заработала уверенно и безотказно.

А вскоре после ее пуска из Москвы сообщили, что об этом незаурядном факте как-то узнали японцы и прислали в Москву письмо на имя правительства. Фирма Мицубиси сообщала, что она после войны производит только мирную продукцию и потому стремится узнать, как работают ее энергетические агрегаты, рассеянные по многим странам мира. И особенно ее интересует, как русским инженерам удалось справиться с одиннадцатой турбиной энергостанции Мудадзян, которая была выпушена с каким-то, так ими и не выясненным, внутренним дефектом. Фирма хотела бы послать своих инженеров ознакомиться с работой турбины на месте и готова оплатить стоимость полученных консультаций.

По слухам, сам Сталин приказал не отвечать знаменитой фирме:

— Незачем открывать врагу наши внутренние производственные секреты.

На лагерном бытии самого Аркадия Николаевича его блистательный успех с турбиной никак не отразился. Никто и не подумал исхлопотать ему снижения срока наказания. Ибо высокое энкаведистское начальство твердо знало, что в душе он неисправимый вредитель и если, взамен открытого вредительства, показывает производственное умение, недоступное другим инженерам, то это не больше, чем камуфляж. Не следили бы они так бдительно за каждым его шагом, он бы непременно когда-нибудь, в чем-нибудь раскрыл свою внутреннюю преступную натуру. Так что в его удивительных инженерных достижениях повинны они, а не он — и потому именно они законно получают за эти достижения награды.

Эпопея с турбиной не сказалась и на моей судьбе. Все же для первой очереди «шоколадки» требовалось не 50, а 100 мегаватт. Московское начальство после долгих колебаний решило изменить технологическую схему — вместо электролиза добывать дейтерий термодиффузией. Мне удалось уйти от дальнейшей работы в «шоколадке» и тем избежать новой личной трагедии. Но драматическая история о том, как выстроили гигантский завод и почти немедленно после пуска стали его демонтировать, разбирая даже стены и фундаменты, заслуживает отдельного рассказа.